

Борис Кац (Санкт-Петербург)

«Эх, раз, еще раз...»¹

Два мелких прибавления к пушкинским штудиям

1. Еще раз о том, чем кончается «Метель»

В работе «Чем кончается „Метель“?»² я стремился показать, что вопреки почти всеобщему мнению эта повесть не имеет того, что принято называть «счастливым концом». Внешне удачные для главных героев встреча и взаимное узнавание оказываются — при пристальном обдумывании сюжетной конструкции — началом бесконечных мытарств, а вовсе не супружеского счастья. Сознательно нагромождая совершенно неправдоподобные стечения обстоятельств в начале повести, Пушкин привел Марию Гавриловну и Бурмина к практически безвыходной для них ситуации: они не могут ни открыть свое супружество перед обществом (автор постарался, чтобы юридического доказательства брака не существовало, а всех свидетелей фантастического венчания тщательно убрал из повести), ни заключить брак повторно (автор наделил их подлинным чувством «страха Божьего», исключаящим возможность второго — незаконного юридически и кощунственного перед Богом — венчания). Таким образом, никакого счастья в браке автор им не предуготовил.

В этом кардинальное отличие конца «Метели» (единственной в цикле повести, завершающейся не точкой, а отточием)³, где развязка не описана, ибо она в прямом смысле слова неопишима, от конца «Барышни-крестьянки», развязку которой автор отказывается описывать в силу ее очевидности. Если это не так, то обе повести сюжетно практически дублируют друг друга и необходимость присутствия в цикле их обеих становится сомнительной.

Парадоксальный конец «Метели» (внешне счастливый, по сути же весьма печальный — ср. в эпиграфе: «Вещий сон гласит печаль!») — органичный результат той игры с разного типа финалами, которой Пушкин явно увлекся Болдинской осенью (ср. разнообразие финалов в «Повестях Белкина» и в «Маленьких трагедиях»), видимо, в виду своей главной задачи — найти финал для

обрываемого и обрывающегося романа в стихах «Евгений Онегин». Проведенное сопоставление финала «Метели» с финалами однотипных по сюжету повестей других русских авторов и концовками пушкинских сочинений осени 1830 г., кажется, подтверждало мою гипотезу. Здесь я хочу предложить еще одно ее подтверждение.

Уже много было сказано справедливого о связи эпиграфа — строф из «Светланы» Жуковского — с сюжетом «Метели». Дело, однако, не только в «Светлане»⁴.

Небывалый, видимо, в русской литературе финал «Метели» пародирует ряд финалов романтических баллад, и в первую очередь конец баллады Жуковского «Пустынник»⁵. Заметим, что в обоих сочинениях осаждаемая женихами невеста остается холодна к ним и тайно ждет сокровенных слов от того единственного, кто ей по душе; он же почему-то медлит. Мальвина у Жуковского ждет признания Эдвина: «И каждый лестью вероломной/ Привлечь меня мечтал.../ Но в их толпе Эдвин был скромный;/ Эдвин, любя, молчал./ <...> Я гордой, хладною казалась;/ Но мил он втайне был...»⁶. Марья Гавриловна у Пушкина ждет откровения тоже «скромного» Бурмина: «<...> не смотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями <...> Он казался нрава тихого и скромного <...> каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слышала его признания?» (VIII; 83, 84)⁷.

Самое же главное сходство — это, конечно, мотив финального внезапного взаимного узнавания героев после долгой разлуки. При описании этого момента Пушкин сближается с Жуковским почти цитатно — вплоть до отточия:

«*Пустынник*»: «„Мальвина!“ — старец восклицает,/ И пал к ее ногам...»⁸

«*Метель*»: «Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...» (VIII; 86).

Уже обсуждавшаяся близость концовки «Метели» и сцены объяснения Татьяны с Онегиным («к ее ногам упал Евгений»), возможно, проливает свет на причину актуализации ранних баллад Жуковского в сознании Пушкина осенью 1830 г. Как заметил еще Г. А. Гуковский, развязка сюжета «Евгения Онегина» (если, конечно, это можно назвать развязкой) — героиня, вышедшая замуж не по своей воле, а по воле матери, не уступает притязаниям вернувшегося к ней любимого, и в этот момент появляется муж-генерал — восходит к эпизоду из баллады Жуковского «Алина и Альсим»⁹. Возможно, припоминание этой баллады (которая, как известно, была предметом и автопародии, и многих чужих пародий) вернуло Пушкина в мир арзамасских игр с текстами товарищей и даже наставников, не говоря уже о врагах. Название бал-

лады, из которой Пушкин взял строфы для эпитафии к «Метели», для Пушкина, конечно, не только название стихотворного текста, но и арзамасское имя Жуковского. С такой «Светланой» можно было, как и встарь (например, в «Руслане и Людмиле»), пошутить.

Похоже, что пушкинский метод вышучивания романтически-балладного тона не изменился. В «Руслане» (это неоднократно отмечалось) рассказ Финна о неизменной любви к прекрасной Наине излагается в соответствии с романтическим игнорированием реального физического времени. Пушкин разрушает иллюзию, представив влюбленному дряхлую старуху, которая на его элегический (и риторический) вопрос:

Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой? –

дает справку точного времени:

Давно ли?.. «Ровно сорок лет, –
Был девы роковой ответ: –
Сегодня семьдесят мне било»
(IV; 18).

Аналогичный, но гораздо более сложный прием используется и в «Метели». Задав эпитафией балладный тон, Пушкин разворачивает повествование в духе романтической истории с почти фантастическими деталями, затем постепенно отказывается от них и, начиная с переезда Марии Гавриловны в губернию***, плавно переходит к повествованию бытописательского типа, оставляя в финале своих романтических героев в мире отнюдь не романтическом, где для супружеского счастья кроме любви требуются запись о венчании в церковной метрической книге и непременно признание «соседями» законности того, что теперь называется фактическими брачными отношениями.

Мальвина и Эдвин, кажется, ни в чем таком не нуждались.

2. У кого Дельвиг «украл» афоризм о цели поэзии? Еще один вопрос к Пушкину

Общезвестное

В 20-х числах (не позднее 24-го) апреля 1825 г. Пушкин писал Жуковскому: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? вот на! Цель поэзии – поэзия – как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а всё невпопад» (XIII; 167). Эта кон-

цовка пушкинского письма многократно (и основательно) сопоставлялась с абзацем из другого письма, писанного Пушкиным 14 марта того же года брату: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно истребить это гонением, кнутом, колыями, песнями на голос *Один сижу в компании* и тому под.» (XIII; 152). Столь же основательно общий смысл обоих фрагментов выводился из полемики Пушкина с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылевым в письмах января—апреля 1825 г. (эпистолярная полемика продолжалась, впрочем, и в следующие ближайшие месяцы). Пушкинские корреспонденты настаивали на «высокой» (в первую очередь «гражданской») цели поэзии, отвергая пустые «красоты слога».

Дельвиг не участвовал в этой полемике, но, посетив Михайловское в апреле (предположительно, между 8 и 24 числами) 1825 г., обсуждал ее с Пушкиным, что видно из письма Рылеева Пушкину от 12 мая 1825 г. (XIII; 173). В комментарии к этому письму И. Б. Мушина пишет (с отсылкой к работе В. Э. Вацура¹⁰): «Ни Дельвиг, ни Пушкин 1825 г. не принимали декларативных стихов, поэзии обнаженно-дидактической»¹¹.

Не полностью отрефлексированное ранее

Очевидно, что из пушкинских вопросов о том, что же главное в стихах, логически вытекает ответ-афоризм: «Главное в стихах — стихи». Столь же очевидна смысловая и лексическая близость такого ответа к афоризму Дельвига, приведенному Пушкиным в письме к Жуковскому. Вполне возможно, что в разговоре с Пушкиным в Михайловском Дельвиг и впрямь сказал: «Цель поэзии — поэзия». Но откуда же и зачем возникает гадательное (шутливое, разумеется) обвинение Дельвига в плагиате: «если не украл этого»?

Отличие афоризма, с сомнением приписываемого Пушкиным Дельвигу, от предполагаемого выше пушкинского афоризма состоит только в том, что слово «стихи» заменяется словом «поэзия», а слово «главное» словом «цель». Но именно последнее слово «задано» в письме Жуковского (на которое Пушкин и отвечает): «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих Цыган! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое...» (XIII; 165). «Вот на!» — восклицает Пушкин, услышав слово «цель», и приводит афоризм Дельвига, как будто специально сочиненный в ответ Жуковскому.

И. Б. Мушина замечает, что Пушкину «представлялось курьезным внешнее совпадение претензий, которые предъявляли к нему лояльный Жуковский — и поэт-гражданин Рылеев»¹².

Курьез налицо, но, во-первых, совпадение не столь уж внешнее (оба корреспондента призывают Пушкина «послужить отечеству»), а во-вторых, курьез, думается, возникал не столько из-за расхождения политических позиций оппонентов Пушкина, сколько из-за того, что Пушкин (в упомянутой эпистолярной полемике) достаточно страстно защищал Жуковского от нападок Бестужева и Рылеева (XIII; 135). Последний ставил в упрек старшему поэту, в частности, «неопределенность и какую-то туманность», которые, будучи «иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали» (XIII; 142). То есть, по сути, поэзия Жуковского обвинялась в том же отсутствии высокой (направленной на пользу человечеству/обществу) цели. Пушкину, естественно, не хотелось рассказывать об этом Жуковскому.

Но и отвечать ему в примирительном (по сравнению с предыдущими) письме отточенным и парадоксальным в своей тавтологичности *собственным* афоризмом о цели поэзии было бы некорректно: это отдавало бы той самой дидактичностью, которой бежал Пушкин, и оказывалось бы прямой бестактностью при обращении (как-никак) ученика к учителю.

Позволительно думать поэтому, что Пушкин сознательно прикрылся именем Дельвига (к которому Жуковский относился по-доброму), но оставил, однако, за собой право вернуть свое авторство, намекнув, что подлинный автор афоризма — все-таки не Дельвиг¹³.

Здесь возможно представить вполне комическую ситуацию в двух вариантах. В том же письме читаем: «Дельвиг расскажет тебе мои литературные обязанности» (XIII; 167). Поскольку *terminus post quem* попу для датировки и письма Жуковскому, и отъезда Дельвига из Михайловского пушкинистика определяет как 24 апреля 1825 г., естественно предположить, что именно с Дельвигом и передает Пушкин в Петербург указанное письмо.

Если Дельвиг знает содержание письма (возможно, оно при нем и пишется), то легко вообразить лицейский хохот в домике Пушкина в Михайловском.

Если Дельвиг не знает содержания письма, то не исключена «арзамасско-лицейская» сцена в Петербурге: Жуковский по прочтении письма спрашивает Дельвига о подозрении в плагиате; тот, конечно, отрекается от собственного авторства и открывает пушкинское. «Все смеются» (VII; 82). Включая, конечно, и Пушкина.

Однако и без вышеприведенной рефлексии массовая культура нашего времени давно уже вернула афоризм о цели поэзии его подлинному автору и забыла о том, кому Пушкин передал авторские права на него. Шальной пробог по Интернету показывает, что подавляющее большинство лиц, без конца цитирующих «гениальную формулу» Пушкина, и не вспоминают (а может быть, и знать не знают) о Дельвиге.

Примечания

- ¹ Любовь Николаевна Киселева, начав приглашать меня с 2003 г. на Пушкинские чтения в Тарту, несет серьезную ответственность за мое возвращение — после многолетней паузы — к пушкинистике (но, разумеется, не за качество моих работ в этой области). Стараясь по мере сил не подвести гостеприимную хозяйку чтений своими докладами, я, помнится, вдобавок пытался выразить свою благодарность за приглашения любительским исполнением цыганских песен на щедрых финальных посиделках. Отсюда и шутейное название моего скромного вклада в коллективный подарок исследовательнице, призванное засвидетельствовать тот очевидный факт, что непоказная ученость и годы серьезной и плодотворной работы над историей русской литературы не умалили в Л. Н. ни ее человеческого обаяния, ни ее открытости «всем проявляемым бытия», ни великолепного чувства юмора.
- ² См.: Кац Б. Одиннадцать вопросов к Пушкину: маленькие гипотезы с эпиграфом на месте послесловия. СПб., 2008. С. 116–139. Первая публикация работы: Пушкинские чтения 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Материалы международной научной конференции. Тарту, 2007. С. 89–109.
- ³ Мимо этого не прошел внимательный взгляд В. Э. Вацура, который первым острожно поставил под сомнение общепризнанный «счастливый конец» повести. Подробнее об этом см. в работе, указанной выше.
- ⁴ Не исключено, в частности, что при сочинении «Метели» Пушкин вспомнил и балладу Катенина «Наташа», явившуюся своего рода «ответом» на «Светлану» Жуковского. Во всяком случае жених Марьи Гавриловны и муж Наташи, покинув своих любимых, находят смерть в одном месте — на Бородинском поле.
- ⁵ Об источнике этой баллады и о популярности его русских переложений в 1810–1820-х гг. см.: Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana'ы (к постановке вопроса) // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 29. Wien, 1992. С. 124–137.
- ⁶ Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2008. Т. 3. С. 23–24.
- ⁷ Здесь и далее ссылки в скобках даются по академическому изданию Полного собрания сочинений А. С. Пушкина с указанием римскими цифрами тома, а арабскими — страницы.
- ⁸ Жуковский В. А. Указ. соч. С. 24.
- ⁹ Гукоский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 145–146. См. также ценную работу: Немзер А. С. Поэзия Жуковского в Шестой и Седьмой главах романа «Евгений Онегин» // Пушкинские чтения в Тарту 2: Материалы международной научной конференции 18–20 сент. 1998 г. Тарту, 2000. С. 57–58, примеч. 7. Ср. там же сопоставление «Пустынника» с посещением Татьяной дома Онегина — с. 53.
- ¹⁰ Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 8.
- ¹¹ Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 449.
- ¹² Там же. С. 100.
- ¹³ Как известно, это далеко не единственный случай, когда Пушкин (по самым различным соображениям) отказывался от своего авторства в пользу другого — реального или вымышленного, названного или неназванного — лица.

CON AMORE

Историко-филологический сборник в честь
Любови Николаевны Киселевой

О · Г · И
МОСКВА
2010